



ЗБИГНЕВ ХЕРБЕРТ

Перевод с польского и вступление В. БРИТАНИШСКОГО

Задумываясь над причинами столь устойчивого в течение многих лет и столь единодушного признания, сопутствующего творчеству Збигнева Херберта, поэт и критик З. Беньковский размышлял недавно в газете «Культура» (№ 9, 1972): «Херберт не двинул, как это говорят, вперед средства поэтического выражения. Он не экспериментировал ни со словом, ни с образом, ни с «антисловом» или «антиобразом». Он не открыл и не закрыл эпоху в поэзии. Он был и есть посреди: посреди поэтов, посреди людей, посреди забот сегодняшнего мира. Настолько посреди, насколько это возможно. И здесь-то, мне думается, секрет его привлекательности, его масштаба, его славы». Статья З. Беньковского так и называется — «Посреди жизни».

Буквально в те же дни другая польская газета «Политика» (№ 9, 1972) представила целую страницу для интервью с самим Хербертом. «Есть писатели,— сказал Херберт в этом интервью,— которые служат чистому искусству. Я им нисколько не завидую, я даже испытываю некоторое отвращение к такой позиции. Я знаю, что значит ад эстетов, ад людей, оторванных от действительности».

Самому Збигневу Херберту (род. в 1924) не приходилось жить в отрыве от действительности. Польская действительность военных лет, с ее трагизмом и героизмом, составляла содержание юности Херберта. Даже учиться в годы оккупации означало для молодого поляка идти на постоянный риск: Херберт, как многие его сверстники, получил аттестат зрелости на тайных курсах и начал изучать филологию в тайном университете. Но главным экзаменом для его поколения было участие в Сопротивлении.

...записка
«Предупредите Войтека
явка на улице Длугой
провалилась»

Эта маленькая деталь вырастает сейчас до значения символа тех лет, но тогда она была повседневностью. После войны Херберт — студент, затем служащий Польского банка, инженер-экономист в проектно-бюро торфяной промышленности, где он занимался проектированием спецодежды для рабочих. В биографии Херберта нет исключительности, да и сам Херберт, кстати, добродушно посмеивается, например, в стихотворении «Притча» над претензиями поэтов на какую-либо исключительность по сравнению с остальными людьми: исключительны, по мнению Херберта, лишь обязанности поэта.

Разумеется, жизнь — жизнь самого поэта, его друзей, его сверстников, его соотечественников — лишь материал искусства, между жизнью и ее воплощением в искусстве всегда стоят труд и мастерство художника. Тем более когда речь идет об искусстве Херберта, поэзия которого, при всей ее простоте и общечеловечности, весьма далека от поэзии «голого факта» (наоборот, факты иной раз одеты у него в античные костюмы).

В предисловии к книге очерков о поездках по городам, музеям и древним руинам Италии и Франции («Варвар в саду», Варшава, 1964) Херберт пишет, что в искусстве старых мастеров его интересовала «связь с историей», но также «техническая структура (как именно положен камень на камень в готическом соборе)». И если

мы порой не замечаем, как сложены стены старых соборов, как сложены строки и строфы белых стихов и верлибров Херберта (его верлибры сохраняют строфическую структуру), так это лишь потому, что мастерство в произведениях настоящих мастеров ненавязчиво и незаметно. Но оно присутствует, оно необходимо, а дается оно нелегко и не сразу.

Прочтя две тысячи опусов начинающих авторов, присланных в адрес жюри конкурса на лучшее стихотворение в дни Варшавской поэтической осени 1972 г., Херберт, председатель жюри, отметил отдельные интересные стихи, но добавил с улыбкой: «Некоторые молодые думают, что написать стихотворение — нечто очень простое, не хотят верить, что дело обстоит иначе. Мой пример 15-летнего ученичества не представляется им ни типичным, ни — тем более — привлекательным».

С выходом первой же книги стихов («Струна света», 1956) 32-летний Херберт сразу же предстал перед польскими читателями и критиками, как Афина Паллада, вышедшая из головы Зевса: в полном вооружении. Можно лишь гадать, каковы были годы «ученичества», каков был путь к первой книге поэта, первые поэтические опыты которого относятся, как нетрудно высчитать, к 16—17-летнему возрасту.

За первой книгой последовали вторая («Гермес, пес и звезда», 1957) и третья («Исследование предмета», 1961), затем «итальянское путешествие» и его итог — уже упомянутая книга очерков.

Не только в первых трех, но и в четвертой книге стихов («Надпись», 1969) Херберт возвращается к годам войны, годам гибели и мужества. В «Прологе», которым начинается эта книга, лирический герой, глядя на «закрытые окна» и «сверкающие дверные дощечки» отстроенной и давно уже благополучной и мирной Варшавы, вспоминает погибших героев Сопротивления. Давно уже наступил мир, давно уже «медяшки пуговиц солдатских» (этой строкой Херберта назвал Ярослав Ивашкевич свою статью о военных реминисценциях в современной польской поэзии) «бренчат в коробке из-под спичек». Но по-прежнему Вислой, то есть символом Польши, Херберту видится «ров залитый водой», ему все еще вспоминаются пустыри и пожары (стихотворение «Красная туча», цикл «О Трое» и др.). «Такой пронзили нас отчизной», — восклицает автор.

При восстановлении Варшавы, прежде чем строить, приходилось разбирать развалины и даже разрушать остатки старых стен (стихотворение «Красная туча»). Нечто подобное происходило и в душе молодых участников Сопротивления, для которых переход к «нормальной» мирной жизни был психологически нелегким. В стихотворении «Мона Лиза» Херберт показывает такое трудное возвращение своего героя к миру прекрасного, к шедеврам прошлого, к истории культуры. В Лувре, «на берегу пурпурного шнура», ограждающего драгоценную картину Леонардо, на руинах древнегреческих городов, перед готическими соборами — везде, в любой стране и в любом столетии Херберт чувствует себя посланцем от своего поколения: не только от уцелевших, но и от погибших товарищей. Именно это позволяет ему показать, насколько смешон и жалок такой «классик», такой специалист по древностям, который не замечает, что прожилки в мраморе — это жилы рабов из каменоломен (стихотворение в прозе «Классик»). Именно это позволяет ему оценить отъезд Цицерона в свою усадьбу Тускулум, подальше от политических тревог Рима, как «позорное бегство» (стихотворение «Тускулум»). Именно это позволяет ему так ярко изобразить крупным планом «пядь земли», на которой растет тамариск и на которой умирает в этот момент греческий воин (стихотворение «Тамариск»).

Античность занимает особое место во «всемирной истории» Херберта. Отчасти это объясняется классическим образованием самого Херберта (он окончил юридический факультет в Торуне и учился на философском в Варшаве). Отчасти же это связано с особенностями истории Польши, страны, где греко-римские традиции вошли в плоть и кровь польской национальной культуры, где Гомер и Гораций воспринимаются как польские поэты, где античные стихи и драмы Херберта заставляют вспоминать не только античные драмы Ст. Выспанского, но и первую польскую драму — «Отказ греческим посланцам» Яна Кохановского, написанную по мотивам «Илиады». И когда Херберт отождествляет Польшу и Варшаву с Троей (стихотворение «О Трое»), для польского читателя эта параллель подкреплена польской поэзией предшествующих полутора столетий.

Греки и Шекспир (и снова Ян Кохановский) стоят за одним из популярных в Польше стихотворений Херберта «Трен Фортинбраса». В трагедии Шекспира норвежский принц Фортинбрас появляется лишь в самом конце, под занавес, чтобы торжественно похоронить Гамлета и занять датский престол. Стихотворение Херберта — это как бы не уместившийся в рамки трагедии монолог Фортинбраса над телом Гамлета, а точнее, диалог Фортинбраса с Гамлетом, потому что Фортинбрас мысленно разговаривает и даже спорит с принцем датским. Слово «трен» происходит от греческого «тренос» — «оплакивание», а самый жанр восходит к народным плачам и причитаниям, которые в древней Греции вряд ли особенно отличались от звучавших еще недавно в русских деревнях. В Польше этот жанр утвердился в литературе со времен знаменитых «Тренов» Кохановского, написанных на смерть дочери.

Столь же древний жанр — надписи. Их высекали на скалах, на стенах дворцов и храмов. В стихотворении Херберта «Надпись» собственно надписью (которую поэт

предлагает высечь в камне) являются последние четыре строки, выделенные автором ритмически: четырехстопный ямб на фоне верлибра предыдущих строф. Начинается же стихотворение диалогом: лирический герой, утверждающий необходимость мужества и активности, спорит с проповедью пассивного, созерцательного, эпикурейского отношения к жизни.

С выходом «Собрания стихотворений» Херберта (1971) начинают стираться грани между отдельными его книгами, вся его поэзия кажется единым и монолитным архитектурным сооружением. Но это сооружение было сложено камень за камнем, книга за книгой, стих за стихом. Лучшие из этих стихов, как писал Ивашкевич в связи с изданием третьей книги Херберта, «достойны стоять рядом с высшими достижениями польской поэзии».

Поэзия Херберта издана отдельными книгами на английском, немецком, чешском и словацком языках, циклы его стихов публиковались в журналах и антологиях на венгерском, итальянском, сербо-хорватском, датском, шведском, норвежском. На немецком языке (в ГДР и ФРГ) печатались также его драмы.

Пролог

ОН

Кому пою? Закрытым окнам
сверкающим дверным дощечкам
фаготам водосточных труб
крысам что пляшут на руинах
В день похорон на пустыре
как барабаны били бомбы
крест-накрест доски шлем дырявый
и в небе розой цвел пожар

ХОР

На вертеле барашка вертят.
От печи пахнет теплым хлебом.
Пожары гаснут. Лишь домашний огонь вовеки пребывает.

ОН

И на досках простая надпись
как залпы кратки имена
«Гриф» «Волк» «Стрелок» но кто их помнит
ржавую краску дождь смывает
Отстирывали мы годами
бинты. Никто не плачет нынче
медяшки пуговиц солдатских
бренчат в коробке из-под спичек.

ХОР

Выбрось реликвии. Забудь их и снова вступишь ты в поток.
Есть лишь земля. Она все та же меняется лишь время года.
Войны людей — войны букашек и смерть над чашечкой цветка.
Дубы цветут. Хлеба поспели. Реки текут впадают в море.

ОН

Я должен плыть против течения
они со мной глядят мне в очи
и шепчут мне слова все те же
и хлеб отчаянья нам горек

Я должен схоронить их честно
должен насыпать холм песка
пока осыплет их цветами
и зельем опоит весна
Город —

ХОР
Его давно уж нету
он закатился

ОН
Мне он светит

ХОР
Как свет гнилушки

ОН
Пустота
но воздух все еще колеблют
те голоса



Ров залитый водой зову я
Вислой. Стыдиться ль правды чистой:
такой любви нас обрекли
такой пронзили нас отчизной

Из цикла «О Трое»

Шли по ущельям бывших улиц
шли красным морем пепелищ

и как закатом красной пылью
был озарен погибший город

Шли по ущельям бывших улиц
рассвет своим дыханьем грели

и говорили что нескоро
подыметесь здесь первый дом

Шли по ущельям бывших улиц
надеялись найти хоть след

Поет гармошка
инвалида
об ивах
и о чьих-то милых

Поэт безмолвен
Дождь

Красная туча

Красная туча пыли —
память о том пожаре
когда закатился город
за горизонт земли

нужно разрушить
еще одну вот эту стену
еще один кирпичный хорал
чтобы открытая рана
между взглядом
и воспоминаньем
зарубцевалась

рабочие те что утром
кофе пьют с молоком шелестя газетой
отогрели дыханьем рассвет и дождь
коченевший так долго в умершем воздухе

стальным канатом
напряженным молчаньем
подымают как флаг
освобожденное от руин пространство
опадает красная туча пыли
перелет через пустыню

на высоте уничтоженных этажей
выплыли окна без рам

когда падет
последняя вертикаль
рухнет кирпичный хорал
и поднимется из руин мечта

о городе который здесь был
о городе который здесь будет
которого нет

Мона Лиза

Через тридевять гор граничных
и колючую проволоку рек
и расстрелянные леса
и повешенные мосты
шел я —
водопадами лестниц
водоворотами крыльев
небом барокко
полным пухленьких ангелов
— шел я к тебе
град господень в раме

стою
среди густой крапивы экскурсантов
на берегу пурпурного шнура
и глаз твоих

вот я и пришел
видишь

я не надеялся
но вот

улыбается деловито
немая выпуклая словно

собирательная линза
на фоне вогнутого пейзажа

между черной ее спиной
что сияет как месяц в тучах

и первым деревом дальней рощи
лишь пустота и пена света

вот я и пришел
временами бывало
временами казалось что
но не стоит сейчас об этом

математическая улыбка
и голова неподвижный маятник

глаза мечтают в бесконечность
но в томном взоре спят улитки

вот я и пришел
мы все должны были
но я один

когда
уже он головой не мог пошевелить
сказал
как только все это кончится
поеду в Париж
между вторым и третьим пальцем
правой руки
промежуток
вкладываю туда
пустые скорлупки судеб

вот я и пришел
это я
стою упершись в пол
живыми пятками

довольно толстая итальянка
на скалах волосы распустила

от мяса жизни она отрублена
из дому вырвана из истории

Я никогда без улыбки не мог вспоминать твои руки
и теперь лежащие будто сброшенные с деревьев гнезда
они так же беспомощны как раньше Это и есть конец
Руки лежат отдельно Шпага отдельно Голова отдельно
и ноги рыцаря в мягких туфлях

Похоронят тебя по-солдатски хоть ты и не был солдатом
но это единственный ритуал немного знакомый мне
Не будет ни свеч ни молитв лишь фитили да залпы
Шлемы грохот сапог бой барабанов артиллерийские лошади
ничего изящного я и сам понимаю
это будут мои маневры перед принятием власти
нужно взять этот город за горло и слегка потрясти

Так или иначе ты не мог не погибнуть Гамлет ты был не для жизни
ты верил в кристальные понятия а не в людскую глину
как во сне ты ловил химеры судорожно хватая
жадно глотал ты воздух и тут же тебя тошнило
ничего не умел как люди даже дышать не умел

Ты спокоен Гамлет ты сделал то что тебя касалось
и спокоен А все дальнейшее касается только меня
Ты выбрал самое легкое эффектный удар
но что геройская смерть по сравнению с вечным бдением
того кто сжимает холодный скипетр сидя на высоком кресле
с видом на муравейник и циферблат часов

Прощай же принц мне пора обратиться к проекту канализации
и к декрету о проститутках и нищих
я должен также обдумать улучшение системы тюрем
ведь Дания это тюрьма как ты справедливо заметил
Пора заняться делами Сегодня ночью родится
звезда по имени Гамлет А мы уже не столкнемся
то что останется после меня не будет предметом трагедии

Нам ни встретиться ни проститься мы живем на архипелагах
а эта вода эти слова что могут что могут принц

Тамариск

я описывал битвы
корабли бастионы
героев резавших и рубивших
героев зарезанных и зарубленных
забыл я лишь об одном

я описывал бури морские
рушащиеся башни
полыхающие хлеба
развороченные холмы
забыл я лишь об одном
о тамариске

ведь когда лежит
человек пронзенный копьем
и уста его раны
смыкаются плотно
он не видит
ни моря
ни дома
ни друга
видит
рядом с собой
тамариск

он возносится
на самую верхнюю
веточку тамариска
выше этих листочков
тонких как птичьи перья
и пытается
улететь на небо
без крыльев
без крови
без мысли
без —

Тускулум

Никогда не веривший счастью свистящему в корабельных снастях
он купил себе дом и усадьбу наконец-то он сможет
писать как писали они в согласии с Натурой
с высокой башни травы среди смертных листьев

труд муравьев столетние войны бурьяна и чертополоха
любовные игры животных слепая ярость убийств
гармонии не было лишь посыпанная песком дорожка
давала успокоение

вскоре он от всего отступился столь несомненно
что никто уже не смел его спрашивать

позорное бегство

Классик

Огромное деревянное ухо заткнуто ватой и цитатами Цицерона
Великолепный стилист — говорят о нем все окружающие. Никто уже
теперь не умеет сочинять такие длинные фразы. К тому же, какая
эрудиция. Даже камни читает. Но никогда не догадается, что про-
жилки мрамора в термах Диоклетиана — это лопнувшие кровеносные
сосуды рабов из каменоломен.

Надпись

Смотришь на мои руки
слабые — говоришь — как цветы

смотришь на мои губы
им не под силу словом объять мир

— покачаемся лучше на стебельке мгновенья
упьемся ветром
посмотрим как заходят наши глаза
запах увяданья прекрасней всего на свете
очертанья руин смягчают боль

во мне огонь который мыслит
ветер который полнит парус

руки мои нетерпеливы
могут
голову друга
изваять из воздуха

твержу я стих который хотел бы
перевести на санскрит
или на пирамиду:

когда источник звезд иссякнет
мы осветим собою ночь

когда окаменеет ветер
мы приведем в движенье воздух

